

Андрей Худенко

**... И ВСУНУТЬ СВОЙ НОС
(АГРЕССИВНОЕ ВИДЕНИЕ ГОГОЛЯ)**

Всем нам памятна детская шуточная загадка: «А И Б СИДЕЛИ НА ТРУБЕ. А – УПАЛО, Б – ПРОПАЛО. ЧТО ОСТАЛОСЬ НА ТРУБЕ?»

Тайна этой шутки состоит отнюдь не в том, чтобы увидеть падение, пропажу. Да и не в том, чтобы зафиксировать невидимое нутро, которое разграничивает А и Б. Суть дела, подчеркивает Гегель в «Феноменологии духа», «исчерпывается не своей целью, а своим осуществлением, и не результат есть действительное целое, а результат вместе со своим становлением; цель сама по себе есть безжизненное всеобщее, подобно тому как тенденция есть простое влечение, которое не претворилось еще в действительность, а голый результат есть труп, оставивший позади себя тенденцию. Точно также граница есть скорее граница существа дела; оно налицо там, где суть дела перестает быть, или оно не есть суть дела. Такое радение о цели или о результатах, точно так же как и о различиях и обсуждении того и другого, есть поэтому работа более легкая, чем, быть может, кажется. Ибо вместо того, чтобы заняться существом дела, всегда выходит за его пределы; вместо того, чтобы задержаться на нем и в нем забытья, такое знание всегда хватается за что-нибудь другое и скорее остается при самом себе, чем при существе дела и отдается ему. Самое легкое – обсуждать то, в чем есть содержательность и основательность, труднее – его постичь, самое трудное – то, что объединяет и то и другое, – воспроизвести его» [1, с. 2–3].

Видение сути дела как воспроизведение вместе и того, и другого в их различии не является анатомическим исследованием трупа. Напротив, разработка такого дела есть поистине живой путь. При этом жизненность пути состоит как в умении мысли проникнуть в тайну, например, сидения на трубе, так и почувствовать таковое сидение – проникнуться тайной. Действительно, для дела необходимо и узреть силу вещественности факта, и право видеть становление такового, будучи в числе многих конструктором его. Лишь постоянная смена «угла зрения» – скрещивание и сопряжение глаз открывает тайну сути дела, ее очевидность.

Траектория движения глаз, результаты изменения «угла зрения», отмеченные Гоголем в его петербургских повествовательных рисунках, и являются объектом нашего рассмотрения.

В сетях сопряженного видения если и можно говорить о каком-либо результате, то только, «чтобы понять и выразить истинное не как субстанцию только, но равным образом и как субъект. [...] Только это восстанавливающее равенство или рефлексия в себя самое в инобытие, а не некое первоначальное единство как таковое или непосредственное

единство как таковое,— есть то, что истинно. Оно есть становление себя самого, круг, который предполагает в качестве цели и имеет началом свой конец, и который действителен только через осуществление и свой конец» [1, с. 9]. В этом действенном движении во вперед себя навстречу открывающемуся миру сбывается не только вещественность объекта, но и реальность субъекта, который в своем подлечании и прилежании овладевает внешнедоступным ему веществом. Таким образом, изначальное вопрошание об очевидности замыкает ее в складке призывных желаний: мир ждет своего открывателя, и он не заставляет себя долго ждать. Только потом — оплодотворенный — мир становится веществом, а анатомическая плоть, умирая, человеческим телом, что в единстве и есть жизнь в ее содержательности и основательности — очевидности.

Видно, что очевидность, в которой скрывается тайна загадки, является не только целью, но и средством ее достижения. Видение сути дела, как путь живой, различается самоценностью пути (стояние-внутри (в) пути) и указанием приближения (шествие-вовне к). В самом глаголе шествия таится энергия, которая в пути открывает возможность существительного быть. В шествии открывается возможность полноты раскрытия того, что уже есть, но стремится принять истинно подлинный облик. В этой связи, живой путь видения сути дела не является калькулированием, но внимательностью и заботой в обращении к тому / с тем, что уже дано: споспешествованием к полноте открытости и обретению им подлинного облика. Заботой, внимательностью и мерится шествие в пути видения сути дела. В «Бытии и времени» Хайдеггером не только выделяется целевая и инструментальная суть заботы, но она и своеобразным образом маркируется: «Фактическое присутствие экзистенцирует рождённо, и рождённо оно также и умирает в смысле бытия к смерти. Оба 'конца' и их 'между' суть, пока присутствие фактично экзистенцирует, и они суть так, как это единственно возможно на основе бытия присутствия как заботы. В единстве брошенности и беглого, соотв. заступающего бытия к смерти рождение и смерть присутствияразмерно 'взаимосвязаны'. Как забота присутствие есть свое 'между'» [3, с. 374].

Межа, которая и определяет заботу, не разрушает того «круга», который, с точки зрения Гегеля, «понимает и выражает истинное». Напротив, подчеркивает Хайдеггер, «усилие должно быть направлено на то, чтобы исходно и цельно вскочить в этот 'круг', с тем, чтобы при постановке анализа присутствия обеспечить полный обзор кругового бытия присутствия» [3, с. 315]. Именно это «между» и позволяет вскочить в круг, проникнуть в тайну сути дела. Ведь характеристика целостности заботы через «между» подчеркивает мерность, арифметичность шествия в пути круга — временность самой заботы [6, с. 326–327]. Поэтому споспешествование — суть ступания по уже оставленному следу, в котором (ступании) наступает

и сбывается уже имеющееся. Суть дела, таким образом, раскрывается не в простом перемещении, но сбывается временем.

Продолжая свою мысль, Хайдеггер отмечает, что таковое сбывшееся временем есть ни что иное как событие: «Специфическую подвижность *протяженного самопротяжения* мы называем *событием* присутствия. Вопрос о ‘взаимосвязи’ присутствия есть онтологическая проблема события» [3, с. 375]. Существо этой проблемы, после обращения внимания на специфичность межи *per se* вполне ясна: в целостности заботы, осуществляемой посредством обмена призывными желаниями властвует виртуальное дар-присвоение. Речь идет о том, *что* и *как* мир дарует человеческому существу, а также *что* и *как* человек присваивает от мира, возвращая себе самого себя – человеческое. В оборачиваемости, дара-присвоения и пребывает суть дела: живой человек, собственный самому себе.

Таким образом, тайна детской загадки видится отнюдь не расположением глаз, но временем: *в сопряженном видении как мерном шествии в пути, в котором сбывается, случается событие очевидности присутствия*. В нашей загадке только одна буква указывает на временной характер присутствия на трубе. «И» не только выражает единство сидения А и Б и их совместное будущее отсутствие; но и различает: А отдельно от Б; А падает, а Б пропадает. Поэтому ничего удивительного нет в том, что разгадка таится в сложном и трудном пути, раскрываемом «И». В этом «И» сокрыта суть дела – случившееся на трубе драматическое событие, в котором присутствует жизнь.

Можно назвать случайностью, что и центральной проблемой «Бытия и времени», как ее определяет сам Хайдеггер, также является содержащееся в самом названии ‘и’ [4, с. 140]. Однако, как видится, автор идеи фундаментальной онтологии не стал бы принижать роль детской шутки. В конце своих лекций об основании он переводит, комментируя, Фрагмент 52 Гераклита: «бытийный посыл судьбы – это ребенок играющий, играющий в игру на доске; ребенок – это царская власть – т. е. *arhe*, учреждающе-управляющее основывание, бытие сущего. Бытийный посыл судьбы: ребенок, который играет. Поэтому существует также великий ребенок. Самый великий, благодаря кротости своей игры царственный ребенок – это та тайна игры, в которую вводится человек и время его жизни, тайна игры, в которой на карту поставлено его существо. Почему играет увиденный Гераклитом в *aion* великий ребенок мировой игры? Он играет, потому что он играет» [5, с. 190]. Вот в чем, как оказывается, состоит видение сути дела: необходимо включиться в игру как в учреждающе-управляющее основание, которое позволяет войти в жизнь; *необходимо оказаться в этом «между», чтобы стать причастным жизни в единственности ее события*; необходимо всунуть

нос в эту расщелину, чтобы узреть суть дела в ее очевидности и, наконец, почувствовать возможность жизни либо, наоборот, удостовериться в ее слабой вероятности – невозможности.

Итак, надобно говорить о букве. На этом настаивал еще Хайдеггер, который сформулировал своеобразный «закон уместности бытийно-исторической мысли», требующий строгости, тщательности – внимательности не только к слову, но и к букве, в которой чеканится мысль. Цель такой внимательности не в том, чтобы обладать миром *in terminum* или «освободиться» для интуиции, но пребывать «между» – там, где возвращается время. А что другого мог завещать страстный интерпретатор Любомудров Эллады, которые слыли «вдумчивыми наблюдателями небесных явлений и, – как отмечал строгий Платон, – тонкими знатоками слова» [2, 401b].

Говорилось об «И». Она лишь потребовала внимательности и строгости. Поэтому, вероятно, не будет слишком смелым утверждение необходимости говорить вообще о букве, алфавите в целом и о его водителе – букве *A*. Тому *A*, что ничего не сообщает, не шлет послания, но метит «между». Это не только дань Деррида; но и Лакану, чей «*objet a*» разыгрывается и видим в качестве украшения (*agalma*), которое метит связку с Другим; и Хайдеггеру, истина которого предстает как несокрытое (*aleteia*) в шествии (*ale*) видения (*theoreia*). И, конечно, Гоголю.

Внимательные и изобретательные финикийцы, повернув египетский иероглиф носа на девяносто градусов по ходу солнца, представили миру букву *A*. А природа наделила Гоголя, столь внимательного к происходящему и заботливого в отношении к грядущему, необычайным носом с одной только целью: дать возможность почувствовать полноту, очевидность жизни. Он и всунул свой нос.

В 1836 году в пушкинском журнале «Современник», отличающемся предельной реалистичностью своих публикаций, печатается повесть Гоголя «Нос». Автор уже известен публике не только своими «Вечерами на хуторе...», но и по сборнику «Арабески». Конечно, недюжинный литературный талант позволил 27-летнему провинциалу опубликоваться в «Современнике». Но не только. Гоголь, как тонкий и внимательный бытописатель, пытается, во-первых, во внешнем разглядеть невидимое, спрятанное от людских глаз. И, во-вторых, его поражает та межа, которая разделяет видимое и невидимое, природы и души. Нет, речь идет не только и даже не столько о своеобразном рассогласовании внешней благопристойности и невидимой грязи (как в истории из «Невского проспекта» с Пискаревым). Гоголя удивляют, привлекают и завлекают сложные перипетии, переплетения – складчатость и того, и другого, в чем и случается рождение человеческого существа. Уже в «Портрете», что был опубликован в «Арабесках», во множестве вопросов художника

Чарткова слышен голос самого Гоголя: «Что это? – невольно спрашивал себя художник. Ведь это, однако же, натура, это живая натура; отчего же это странно-неприятное чувство? Или рабское, буквальное подражание натуре есть уже проступок и кажется ярким, нестройным криком? Или если возьмешь предмет безучастно, бесчувственно, не сочувствуя с ним, он непременно предстанет только в одной ужасной своей действительности, не озаренный светом какой-то непостижимости, скрытой во всем мысли, предстанет в той действительности, какая открывается тогда, когда, желая постигнуть прекрасного человека, вооружаясь анатомическим ножом, рассекаешь его внутренность и видишь отвратительного человека? Почему же простая, низкая природа является у одного художника в каком-то свету, и не чувствуешь никакого низкого впечатления; напротив, кажется, как будто наслаждался, и после того спокойнее и ровнее все течет и движется вокруг тебя? И почему та же самая природа у другого художника кажется низкою, грязною, а между прочим, он также был верен природе? Но нет, нет в ней чего-то озаряющего. Все равно как вид в природе: как он не великолепен, а все недостает чего-то, если нет на небе солнца».

Но в «Арабесках» эти вопросы звучат из уст «сумасшедших». Гоголь как будто боится их задавать серьезно. Во-первых, он оставляет для себя алиби: «ну, сумасшедший, что возьмешь»; или – «бес попутал». Во-вторых, Гоголь не заостряет проблемы, снимает ее в пользу одной из сторон. В «Записках сумасшедшего» внутреннее переступает между своей отличности от внешнего: мир конструируется сознанием Поприщина, и потому оно становится больным. В «Портрете» наоборот: художник Чартков признается и занимает место по эту сторону мира. Межа же, разделяющая внутреннее и внешнее в «Записках» и «Портрете», – то «между», в котором складывается жизнь в ее целостной очевидности, стирается.

«Нос» совершенно особое произведение. В нем персонажи вполне нормальные люди, по крайней мере, не отмеченные печатью психического нездоровья, незамеченные «связью» с антихристом, а их поминание черта вполне буднично. Да и ведут они себя в соответствии с чином. Суть дела в носе. В нем разыгрывается петербургская драма, в которой переплетаются видимая реальность и душевные муки персонажей. Он как будто представляет собой ту межу, которая заставляет мир и его персонажей вертеться. Подлинный герой здесь, конечно, не майор Ковалев. И не нос, предстающий в мундире. Герой – сам Гоголь, который вопрошает о сути дела и всовывает свой нос, являя петербургское событие.

Нос не только событие, организующее поле изысканий Гоголя, но и инструмент его случаяния. Отчего же не глаз видит и ведет дело у Гоголя? Ведь острота глаза у Гоголя не менее примечательна, нежели носа. Его тонкая характеристика итальянской живописи и в «Невском проспекте», и

в «Портрете» поражает глубиной, пониманием глубины, перспективы, линии. Вероятно, глаз бывает обманчивым. Предельное сходство с изображаемым предметом, «рабское, буквальное подражание натуре» лишает вещь глубины – реальности. Плоскость изображения, сходство с натурой, о чем говорил Гоголь в «Портрете», – своеобразный итог аналитической работы движений глаза, которые последовательно рассекают, высвечивают предмет и представляют его не как необозримую тотальность, но частично. Такое аналитическое видение – предмет рефлексии, его рассмотрение возможно лишь в модусе стороннего наблюдения за происходящим. Гоголь не мог ограничиться только фиксацией внешнего. Ему необходима была глубина видения. Тайна такого видения раскрывается Гоголем в живописи итальянских мастеров: в существовании видения, которое слито с видящим телом. Не глаз сам по себе, а тело в его целостной организации видит. Такое «видение телом» можно получить лишь осуществляя его на деле: шествуя по изображаемому предмету, прощупывая его своим телом и передавая движение шествия кисти руки, которая держит кисть. Только в результате такого акта видения вещь предстает не только наделенной длиной и шириной, что является результатом «мышления видения», но и глубиной. Той глубиной, которая выделяет вещь среди всех остальных, определяет ее позицию в иерархической структуре мира. Гоголевский нос и есть такое видение телом, которое отнюдь не противится движениям умного глаза, но выступает их учреждающе-управляющим остовом.

Видение сути дела сродни детективу. «Нос» и есть такой детектив. Однако странность детективного сюжета мы усматриваем не в пропаже того, что принадлежит некоему майору Ковалеву. Несколько удивляет результат детективного расследования. Ведь виновные не только не осуждены, они не выявлены. Майор Ковалев как потерял, так и возвратил свое таким же способом – во сне. Поэтому невольно закрадывается сомнение: а была ли пропажа? «Но что страннее, что непонятнее всего, – это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Признаюсь, это уж совсем непостижимо, это точно ... нет, нет совсем не понимаю. Во-первых, пользы отечеству решительно никакой; во-вторых ... но и во-вторых тоже нет пользы. Просто я не знаю, что это. А однако же. При всем том и то, и другое, и третье, может даже ... ну да и где ж не бывает несообразностей?» – сам признается Гоголь.

Представляется, что суть детективной игры Гоголя не в занятии позиции «прокурора», который должен, опираясь на факты совершенного преступления, найти, обезвредить и наказать преступника, руководствуясь нормой, т. е. место беспристрастного, внешнего наблюдателя не дает требуемой для сути дела глубины. Не разделяет он и желаний «адвоката»; проникнуть во внутренние мотивы совершения преступления – также

предоставляет слишком мало места для обзора. Он занимает позицию судьи – того, кто ведет, движет видение сути дела. В пути этого процесса получают свои права и «прокурор», и «адвокат», и свидетели, и др. шествующие. Именно судья, различая участников в пути процесса, сопрягает их шествие, что потом находит свое завершение в вынесенном суждении, сиречь приговоре суда. Но Гоголя не занимает вопрос результата. Обстоятельства дела, длительность вынесения суждения – поле, которое разрабатывается Гоголем. Здесь важно множество подробностей, которыми испещрены обстоятельства дела. Здесь и «сон в руку»; ведь он, во-первых, не менее реален, нежели Невский проспект, да и последствия его будят желания (например, отведать на завтрак свежего хлеба) и вызывают к их удовлетворению.

Здесь и являются свидетели, различающиеся своим местом в структуре события: и робкий, бесфамильный цирюльник Иван Яковлевич, отказывающийся от кофия ради свежеспеченного хлеба, который в страхе пытается избавиться от улики; и «полицейский чиновник красивой наружности» – яркая фигура стороннего, нейтрального, а потому подслеповатого наблюдателя; и честлюбивый майор Ковалев; и его двойник – нос в мундире высокого чина, разъезжающий с визитами по Петербургу; и офицерша Подточина, мечтающая о выгодной партии для своей дочери. И прочие, прочие жители северной столицы проходят в карнавальном шествии и видятся Гоголем, который обращается к ним внимательным взглядом, заботливо сопрягает их шествие в петербургском сказывании. А миф уже родит новые рассказы и не дает иссякнуть движению жизни, взывая к продолжению видения сути дела: «Потом пронесся слух, что не на Невском проспекте, а Таврическом саду прогуливался нос майора Ковалева, что будто бы он давно уже там; что когда еще там проживал Хозрев-Мирза, то очень удивлялся этой странной игре природы. Некоторые студенты Хирургической академии отправлялись туда. Одна знатная почтенная дама просила особым письмом смотрителя за садом показать детям ее этот редкий феномен и, если можно, с объяснением наставительным и назидательным для юношей. Всем этим происшествием были чрезвычайно рады все светские, необходимые посетители раутов, любившие смешить дам, у которых запас в то время истощился».

Сказывание Гоголя, или видение сути дела, в котором судяще сопрягаются подробности мира, не может найти своего завершения. Остановка смерти подобна. Но трудно вынести и бесконечность сопряжения множества подробностей, их складывание в меже события. Однако гоголевское «безумие» не является сумасшествием героя «Записок сумасшедшего»; это не безумие как «внутреннее извращение себя самого, как помешательство того сознания, для которого его сущность

непосредственно есть не-сущность, его действительность непосредственно – недействительность» [1, с. 200]. Суть дела Гоголь видит в преодолении такого «безумия».

Последняя запись, которую делает Поприщин, гласит: «Я не в силах, я не могу вынести всех мук их, голова горит моя, и все кружится предо мною. Спасите меня! возьмите меня! дайте мне тройку быстрых, как вихрь коней! Садись мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтесь кони, и несите меня с этого света! Далее, далее, чтобы не видно было уже ничего, ничего!» Но *Тройка* Гоголя другая: в ней страсть видения, и страсть агрессивная. Агрессивность гоголевского видения препятствует завершению когда-то начатого пути, заставляет вновь и вновь ступать по уже оставленному следу для того, чтобы быть впереди себя, открывая свое собственное быть. Путь бесконечно гонит уже ставшее собственное «я», прозябающее в невыносимом знании о самом себе, прочь, отправляя его дальше и дальше к своей собственной очевидности.

Агрессивное видение Гоголя подобно «проклятой доле» человека (как виделось Батаю), трагедии его, и культуры в целом, бытия (что замечено Зиммелем). Однако в нем неиссякаемая страсть и мужество во встрече с жизнью – феномена бесконечной возможности и невозможной ее полноты, очевидности. «Поэтому-то, – обращается Сократ к Кратилу, и мог бы обратиться к каждому из своих собеседников, а Гоголь обращается к себе и каждому из нас, – дело обстоит, может быть так, а может быть и не так. Следовательно, здесь надо все мужественно и хорошо исследовать и ничего не надо легко принимать на веру; ведь ты еще молод и у тебя есть еще время. Если же, исследовав это, ты что-то откроешь, то поведай об этом и мне» [2, 440d].

1. Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. – СПб.: Наука, 1992.
2. Платон. Кратил // Платон. Соч. – Т. 1 – М.: Мысль, 1968. – С.413–491.
3. Хайдеггер М. Бытие и время. – М: Ad Marginem, 1997.
4. Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. – М.: Логос, 1997.
5. Хайдеггер М. Положение об основании. – СПб.: Алетейа, 1999.
6. Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. – СПб.: ВРИП, 2001.